Андрей Молчанов

# **Начнем с Высоцкого,** или Путешествие в СССР...

Андрей Молчанов

# Начнем с Высоцкого, или Путешествие в СССР…

«Издательство АСТ»

2023

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Молчанов А. А.**

Начнем с Высоцкого, или Путешествие в СССР… /
А. А. Молчанов — «Издательство АСТ», 2023

ISBN 978-5-17-160132-4

70–80 годы XX века. Герои романа – звезды советского кино, театра и литературы, представленные автором в реальной жизни, с их проблемами, разногласиями, творческими исканиями на закате советской эпохи. Какими были взаимоотношения творческой интеллигенции с властями, как повлияли представители культуры на страну, – все это автор показывает на основе уникального опыта личного общения с широко известными актерами, режиссерами, писателями, а также высшими представителями властных структур. Сохранен издательский макет.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-160132-4

© Молчанов А. А., 2023
© Издательство АСТ, 2023

# Содержание

Армия 10
Конец ознакомительного фрагмента. 26

# Андрей Алексеевич Молчанов
# Начнем с Высоцкого, или Путешествие в СССР…

***«Когда состарюсь, издам книжонку…»***
***В. Высоцкий, «Письмо из Парижа».***

***Жизнь надо прожить так, чтобы было, что вспомнить. Но стыдно рассказать…***

***«Древние греки не знали, что когда-то станут древними греками»***

© Андрей Молчанов, текст, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024

* * *

– Ну-с, начнем с Высоцкого, – нейтральным тоном молвил Любимов, окидывая рассеянным взором собрание сидевшей в зале труппы Таганки. Одет он был в свитерок грубой вязки, с выпуском расстегнутого ворота рубахи – по-моему, голубенькой; седина уже изрядно пробила его густые волосы, а лицо отдавало легкой желтизной, – болел, печень.

Накануне Валера Золотухин драматическим тоном поведал мне, что у шефа хронический гепатит, что спиртного ему – ни-ни, а судьба театра вообще на волоске из-за недомоганий обожаемого мэтра. В этом же контексте он сообщил об обострении язвы желудка у Высоцкого, общем плачевном состоянии его здоровья, так что все выходило плохо, тревожно и туманно.

Валера всегда был склонен к паникерству и к пессимистическим выводам, но в ту пору я, семнадцатилетний придурок, проникался его мнением, как истиной в первой инстанции, да и вообще доверял ему бесконечно. Именно он уговорил Любимова взять меня в театр в качестве гитариста и актера в массовку без театрального образования, в расчете на оное в дальнейшем. Валера – мой названый старший брат. Эта роль ему нравилась, а уж мне – тем более. В далеком семидесятом наши лица были неуловимо схожи, и легенда в недрах театра проходила «на ура», тем паче, автором и инициатором ее был сам каждодневно набирающий очки народной славы артист. Впрочем, история о нашем братстве с ее началом и финалом – это история отдельная, и будет изложена ниже, в моем первом опыте в бессюжетной мемуарной прозе. Интуитивно ориентируюсь на своего учителя, Валентина Петровича Катаева с его «Алмазным венцом», однако в его готовый трафарет умещаться не собираюсь и изысков высокой прозы в этой работе сознательно избегаю – пусть будет так, как Бог на душу положит – прямиком, просто и, постараюсь, – честно. Также не собираюсь наивно шифровать всем известные имена выдуманными милыми прозвищами и подражать манере его «мовизма», которым был очарован в юности, но к которому, увы, равнодушен ныне. Юная душа иначе воспринимает все новшества и все необычное, с возрастом мы черствеем и в итоге становимся невозмутимыми и крепкими, как просроченные пряники.

Итак, вернемся к закулисному театральному мероприятию производственного толка.

– Начинаем с Высоцкого в очередной раз! – вслед за Любимовым повторил директор театра Дупак, скосившись на популярного актера и менестреля, сидевшего на крайнем кресле в первом ряду.

Менестрель, несмотря на свою оглушительную популярность в массах, в этих стенах был всего лишь служащим человеком, подчиненным и режиссеру, и уж, конечно, ему, директору. Иерархия административной театральной вертикали: «режиссер-директор», на сей момент уподоблялась двум орлам крамольного в те годы российского герба, раскрывших клювы возмездия над непокорной главой прогульщика и пьяницы – всесоюзного, что сквозь зубы признавалось и недоброхотами, значения. Недоброхоты, впрочем, уповали на временность славы менестреля на то, что власть-де, да прищучит вольнодумного песнопевца, и ее отеческая снисходительность к заблудшим в своей наглости персонажам из богемы – до поры. В закономерном же итоге воздастся всем шагающим не в ногу, а потому в неотвратимости кары не следует заблуждаться никому.

Впрочем, и родственники менестреля, а именно отец и мачеха, будучи в окружении близких приятелей, а именно моей маман, с ними дружившей, вздыхали на вечерней кухне, чему был свидетелем, подслушивая из коридора:

– Да все это скоро пройдет: песенки, почитатели, слухи о нем… Сама слышала: один дурак убеждал другого, будто Володя отсидел десять лет! Другой говорил, что пятнадцать! Подойти, объяснить им, кем я ему прихожусь? Это значит – им уподобиться!

– Сам образумится! – следовал отклик. – В конце концов, на нем дети, Люся; надо думать о карьере, сыграть что-то героическое, серьезное, чтобы комар, как говорится…

– Кто ж ему такое поручит?..

– Безобразия творим, Владимир Семенович, – констатировал Любимов, разведя руки. Был он огорченно-задумчив, но и не более, что-то, видимо, опустошенно решив для себя в отношении и к Высоцкому, и к вынужденному этому собранию, продиктованному правилам необходимых дисциплинарных мероприятий. – Итак, на повестке дня вопрос о вашем поведении, господин артист, а вернее, о фактах нарушения трудовой дисциплины, выразившихся в широко известных срывах спектаклей, пропусков репетиций… Мне даже скучно продолжать… Да вы хотя бы привстаньте, покажитесь во всей красе для соблюдения протокола…

Господин артист привстал. Обернулся на соратников по творческому цеху. Так, в полувзгляда, надменно.

Всегда поражался, как мгновенно менялся его взгляд от отрешенного или благодушного к искрящемуся весельем или же откровенно враждебному, когда в нем блистала просто сумасшедшая ярость или же холодное грозное предупреждение: прочь с глаз моих!

И ведь умел он играть этим взглядом, как ненароком показанной «финкой», из-под голенища сапога привынутой. А где игра, там и расчет… Впрочем, расчетлив он был, за исключением некоторых изменений своего сознания, всегда. Но пьянка есть пьянка, а то изменение сознания, что необходимо актеру как навык для погружения в роль, он тоже умел контролировать жестко. Хотя порой умышленно отпускал удила и переигрывал.

Но сейчас, на этом пустопорожнем собрании, он был трезв, собран, а внешне – зол и колюч. И все было уложено в его мозгу, сообразно ветвистости сюжета в развитии действа сегодняшнего сборища: обличений врагов с требованием изгнать из театра, с робким заступничеством друзей, с колебаниями в решениях начальства…

Все уже было… Очередной спектакль, где финал определяет лишь импровизация. Что в козырях? А то, что зритель идет сюда, на Таганку, в первую очередь на него, а уж во вторую – в авангардный театр, как таковой. Он – сердце труппы. На всех – его отблеск, как вы от него, соратники, не отмахивайтесь, как ни отрекайтесь, как ни завидуйте. Все вы им помазаны… И режиссер, и директор – тоже!

– Замечания учту, – проронил он веско. – Недопустимость некоторых своих поступков глубоко осознал. Театр мне дорог, и этим, собственно, сказано все.

– Пью, пил, и пить буду, – грустно подытожил из зала голос актрисы из стана нейтральных.

Загудели возмущенным хоровым ропотом недруги, формулируя обвинения типа: почему ему можно, а нам – нет? Недругов хватало. Еще в первые дни появления его в труппе, как мне рассказывал Борис Хмельницкий, одна из актрис, припудривая личико у зеркал гримерного столика, ответила на его ремарку о самобытности голоса Высоцкого так:

– Голос не для оперы, но вполне для пожара или ограбления.

– А вот я хочу о проблеме клептомании! – неожиданно возопил из зала Ваня Бортник, искусно перебивая обсуждение основной темы. – У меня вчера с пиджака в гримерке значок свистнули! Наш, театральный, таганский! Это что же творится, а, братцы? А если бы – портмоне? Там двадцать пять рублей, хорошо, вор посовестился… Но значок – это тоже обидно, знаете ли… Но и до портмоне дело дойдет! Теперь свои кошельки и все прочее с собой на сцену таскать надо?!

– Значок я вам выдам, – отмахнулся Дупак. – Вы перебиваете основной вопрос…

– Да, теперь у нас второй вопрос, – тряхнув своей породистой поседелой гривой, молвил Любимов. – Причем, замечу, касающийся всех без исключения, поскольку с курением и мусором за кулисами ситуация вопиющая, и вместо творческой работы мне приходиться выслушивать нотации от всякого рода административных инстанций…

Пусто и скучно стало в зале… Явственно ослабла всеобщая энергетика творческого коллектива. Ожидание разноса менестреля не оправдалось, да и сам он слинял под шумок за портьеры, но, точно, обретался еще здесь, в гримерках, мол, если чего я с передовой лишь временно по нужде, а коли нужда во мне – вот и опять я, смиренный – корите, позорьте, трезвоньте, готов ко второму отделению аутодафе; только гаркните через служебные репродукторы: «Артист Высоцкий, вернитесь в зал!» – и вот он, артист, готовый на очередную взыскательную потеху…

Да уж нет, вышел пар, оравнодушилось общество, спал градус, как в стакане с недопитой с вечера водкой… Но тут пошла потеха другая, органически-жизненная, сермяжная, сравнимая разве с импровизациями того же Ивана Бортника в «Живом», когда публика на артиста через день ходила, ибо в каждом спектакле выдавал Иван Сергеевич все новые и новые «пенки», да какие! Изящнейшие «самоволки» он умел устраивать из любой роли! И… ничего не осталось в истории. Ни то, чтобы кадра узкопленочного, даже блеклого фото, ибо, думали: да все навечно, что сегодня, то и вчера, то будет и завтра… Как и собрания труппы на предмет дисциплинарных выговоров. Однако эта потеха в истории чудом осталась, ибо у актрисы Нины Шацкой диктофон по случаю в сумочке оказался, и записалась речь ответственного театрального пожарного Николая Павловича:

– Я хочу еще раз напомнить о культуре быта. Я с этими рычами выступаю на каждом собрании, но рызультаты пока не видно глазом. Хотя бы для того, чтобы не выступал я, пора повернуться к этому вопросу на сто девяносто градусов. Вот вчерась на обходе помещения вижу, волос настрыган, женский, настрыган волос у женщин в гримерных и везде разбросан, по-моему, сознательно настрыган и разбросан нарочно! Волос преимущественно черный, отсюда вывод: брунетки безобразничали, их у нас несколько, можно легко установить, кто это наделал. Бывает, когда в супе случайно волос попадает даже свой, и то я уже не могу такой суп есть, в унитаз его сношу. А тут в таком количестве женский волос… в культурном учреждении! Товарищи! Стрыгитесь же в одном месте… А Таню Сидоренко с ножницами я точно в гримерке видел!

– Мы – публичные женщины! – донеслось из зала возмущенно. – И должны держать себя в форме при обозрении нас массами!

– Второй пункт – курение. С курением у нас очень плохо. Немного, правда, легче стало – Клим ушел (Клименьев). Тот не признавал никаких законов, курил, где хотел, и не извинялся. Хотя и дорогие сигареты «Марлибр». И еще – «Самец», с иностранным верблюдом. (Видимо, подразумевался «Camel»). Где их брал – вопрос. Теперь Клима нет, но его заменили, как по

призыву, несколько, в том числе – Маша Полицеймако. Я не понимаю таких женщин. То есть, головой понимаю все, умом – нет! Женщина – такое существо! И вдруг от нее при целовании будет разить табаком, да как же тогда ее любить прикажете? А Маша курит много и всюду нарушает правила безопасности. Далее. На собрании больших пожарных города Москвы было сообщено о пожарах в количестве пятисот штук, по анализу причин загорания – от курения. Часто загорания начинаются в карманах: курит в неположенном месте, меня увидит, и в карман папироску – и горит потом целый театр или того лучше – завод!

Товарищи! Партия призывает нас к бдительности в сбережении социалистической собственности. За последние два дня полетело от безобразий братвы – артистов – четыре стула по сорок два рубля, четыре урны фаянсовых. Вопиющее безобразие наблюдалось в четвертой мужской комнате: переработанный харч в раковине, и это засекается мной не первый раз. Напьются, понимаешь, до чертиков, и не могут домой донести, все в театре оставляют. Уборщица жалуется, убрать не может, ее самою рвать начинает. Понимаю: тут и с железными нервами не справиться, это вам не шубу в трусы заправлять! Предупреждаю! Кого засеку с курением – понесут выговорешники тут же, а в дальнейшем буду неутомимо штрафовать преступников, как ГАИ»

Эх, иметь бы тогда современный телефончик со встроенной камерой, что сейчас у каждого школьника… Увы, такой телефончик на том собрании уподобился бы несусветному волшебству. Но даже на допотопную камеру никто ничего не снимал. Если только фрагменты из спектаклей с согласованием в инстанциях. А снимать ту театральную Таганку стоило едва ли ни каждый день, во всех ее закоулках, и осталось бы тогда золотое наследие и самого театра, и его времени. Сохранившиеся фрагменты – так, шелуха. А зерно истины – только в неверной памяти уже немногих оставшихся.

А вот и Высоцкий тем же вечером, стремительно вышедший со сцены в закулисье, на первый этаж артистического закутка, где под потолком и вдоль стен тянулись трубы тепло и водоснабжения, плюхнувшийся в огромное дерматиновое кресло, разгоряченный, с алым лицом, одетый в трико и «чешки», кожаные тапочки на резинке в подъеме стопы, для улицы легкомысленные и непрактичные, для домашней – тесные и неуютные, однако широко используемые гимнастами и самбистами.

– В этот день берут за глотку зло, в этот день всем добрым повезло… – пропел он себе под нос часть куплета, только что исполненного им на сцене в «Добром человеке из Сезуана».

Я, сидевший напротив, куражась, допел продолжение, попадая в его интонации и тембр…

Он выслушал, качнул головой усмешливо.

– Я вижу, как ты поешь на сцене, – погрозил мне пальцем. – Ты работаешь под меня… Это плохо, избавляйся, ищи свое. И запомни: природа не терпит повторений!

Я запомнил.

* * *

Выхожу из служебного входа-выхода Театра на Таганке семидесятых. Захлопнулась дверь. За ней – тетя Зина – вахтер и, одновременно, заведующая артистической гардеробной. Номерки, правда, никому не выдавались, артисты вешали свои пальто и куртки произвольно, однако, внезапно случился казус: однажды из гардероба было похищено чье-то пальто, причем, как подразумевалось – неким злодеем то ли из труппы, то ли из технического персонала, и расследованием занимался знаменитый МУР, так злоумышленника и не поймавший. Причем вину за утрату пальто взвалили именно что на тетю Зину, олицетворяющую на современный манер ЧОП – то есть, частное охранное предприятие, обороняющее ныне театр едва ли ни ротой, однако во времена оные, на всю оборону учреждения культуры вполне хватало одной и единственной тети Зины.

– Если из гардеробной под носом у вахтера крадут пальто, – высказался на сей счет Любимов, – это уже не театр, а цирк! С фокусами в стиле Кио…

Второй эпизод с кражей верхней одежды случился уже в основной раздевалке для публики, откуда свистнули дорогущую шубу спутницы лауреата всех государственных премий Сергея Михалкова. Ошарашенная дама блуждала по фойе, разводя руками и кляня администрацию, а вслед за ней сочувственно волочился автор гимна СССР, глубокомысленно изрекая:

– Милая, а что ты хотела? Где театр, там и драма…

Вот и вышел я в мартовскую темень, вот и обернулся по пути к метро на родимый порог. Для меня это был главный подъезд Театра на Таганке – с его боковой правой стены вдоль Земельного вала. Там было место встреч артистов и их знакомых, там был большой перекур и обмен сплетнями перед спектаклем, там выяснялись отношения, зарождались и замиривались конфликты, и все это – через идущую к метро публику, косящуюся на увлеченных своим общением знаменитостей. И даже машины, скользящие по Земляному валу, замедляли ход, а то и вовсе тормозили, и водители выворачивали головы, не веря, что видят у подъезда терпеливо выжидающего своего театрального гостя Высоцкого или Золотухина. Их лица различались издалека, идентифицируясь мгновенно – особенность таких черт для артиста – дар судьбы.

К тому же, тогда еще существовали киноафиши.

– Наконец-то у кинотеатра я увидел на плакате свою физиономию, намалеванную гуашью! – говорил мне Золотухин. – Это был… миг триумфа и неземного восторга!

И вот – его лицо во гробе, после месяца комы, будто слепленное из известки, в коросте похожего на гуашь, грима.

Но это случилось через вечность, в марте 2013-го. А в ноябре 2013-го я шел мимо этого подъезда по пути в ресторан, на свое, увы, шестидесятилетие. И остановился возле двери, пытаясь вернуться в себя прежнего, семнадцатилетнего. Увы, нет уже такого человека. Глупого, счастливого, стремящегося. Ни одной молекулы от него не осталось. И той озаренной театральным светом двери не было. Передо мной – железная, грубо выкрашенная черной краской преграда, подернутая грязью и пылью. Кажется, намертво вваренная в раму. Уже давно никто не входит в нее. Растрескавшийся приступок. Скоро его снесут, сравняют с тротуаром. А сколько раз на него ступали Высоцкий, Любимов, Вознесенский, Евтушенко… Стоп. Продолжать этот огромный и скучный похоронный каталог не стоит.

Но в памяти моей все близкие мне ушедшие – существуют словно бы рядом, а сейчас я иду в своем шерстяном советском пальтишке до метро Таганская, я еду домой, где тоже все живы, у меня впереди огромная жизнь, я думаю о ней, я пытаюсь представить, как все сложится в дальнейшем, и – напрасно! Не суждено нам ничегошеньки предугадать!

# Армия

Театру я изменил. Понял: не мое… Первоначальная увлеченность и жажда актерской карьеры пропали одномоментно и напрочь. Театром надо было жить, к нему надо было привязаться безоглядно, как к дому и к семье, а воздух закулисья воспринимать, как органическую необходимость, как родниковую воду, утоляющую жажду, а, может, и как наркотик. Тот же Высоцкий, что меня искренне удивляло, проводил свободное время в театре зачастую праздно, ужиная в закулисном буфете на втором этаже («Сом у них сегодня костлявый, Андрей, не бери, я чуть не подавился»), что-то писал за своим гримерным столом, и я чувствовал, что дома ему явно не сидится. Марина была в Париже, отношения с бывшей женой Люсей рухнули, скатиться в очередную пьянку он опасался, а театр «держал», да и поддерживал своей извечной праздничной суетой и забавным круговоротом различной публики с ее страстями и анекдотическими коллизиями.

Недаром говорят, что в театре актер «служит», а не работает. Но эта служба, жизнь согласно расписанию собраний, спевок, репетиций, прогонов, гастролей и самих спектаклей, стала меня тяготить своей казарменной обязательностью. Главное же, меня озадачивающее, было в другом: от этого подвижничества в итоге не оставалось и следа. Нет, конечно, театральное действо меняло многое в сознании зрительских масс, оно не пропадало втуне и, кто знает, как влияло на дальнейшие поступки людей и на само человеческое бытие, но актерские труды испарялись, как талый снег по весне и ночной туман на рассвете. Они оставались лишь в кино, но не всем везло туда попасть, да еще и на значимые роли.

Меня привлекала литература, возможно, своей нетленностью даже в архивных залежах, но что я, мальчишка, мог тогда написать? Разве дневник с расчетом на будущее, дабы использовать его в качестве шпаргалки уже в зрелом писательском ремесле? Но занимали меня мысли практические, а именно: грядущая неотвратимая армия. Поступление в театральный институт от нее не избавляло, там не было военной кафедры, и все студентики в итоге оказывались голенькими перед комиссией военкомата. Откосить от повинности по медицинским показаниям я не мог, ибо в учетной карточке значилось, что я являюсь кандидатом в мастера спорта по самбо, которому посвящал три тренировки в неделю, какие уж тут недомогания? Поступить в абы какой институт, например, в МЭИ, к чему меня склонял отец, заведовавший там кафедрой наряду со своим директорством в Особом конструкторском бюро? Но меня трясло от отвращения к черчению, физике и математике… Словом, я обреченно решил, что, коли армии не избежать, значит, придется сходить на два года в солдатчину.

В военкомате меня приписали во внутренние войска. О жути тамошней службы я не ведал, беспечно полагая, что охранять важные государственные объекты, как мне объяснили специфику службы в том же военкомате, гораздо интереснее, чем чистить артиллерийские пушки, сидеть в подземных бункерах ракетных войск или надраивать танки, которые не боятся грязи.

Важными государственными объектами в моем случае оказались зоны общего и строгого режима, в обилии располагавшиеся на территории Ростовской области. В охрану одной из них я угодил после полугодовой зверской сержантской «учебки», откуда вышел уже с тремя лычками на погонах и специальностью инструктора по инженерно-техническим средствам охраны исправительных лагерей. Вся философия исправления в лагерях, как я уяснил, заключалась в прививке страха перед перспективой повторного в них попадания, хотя каждый третий зэк непременно, в силу натуры и обстоятельств, за колючую проволоку, которую меня научили профессионально натягивать, возвращался, как в дом родной.

Автобус, который вез наголо остриженную когорту будущих воинов на сборный пункт, располагавшийся в бывшем здании тюремной Краснопресненской пересылки, проезжал в

предрассветных сумерках мимо Таганки, и с подкатившей к горлу тоской я увидел здание родного театра с афишей грядущей премьеры «Гамлета», на которую, увы, мне уже было никак не попасть.

А вечером того же дня поезд уносил меня в иную казенную жизнь, страшившую своей неизвестностью. А вот и Ростов, помывка в бане, первая моя гимнастерка, и первая казарменная кровать на втором ярусе под блеклым высоким потолком… Первая солдатская «учебка».

На реальную же боевую службу я прибыл, пройдя суровое горнило подготовительного к ней этапа, чей финал ознаменовался перемещением из казарменной школы с учебными классами в «дачную подмосковную идиллию», как описали наше предвыпускное времяпрепровождение циничные командиры.

Зажав между ног закрепленные за нами «Калашниковы», мы тряслись от вибраций силового агрегата в затянутом брезентом кузове грузовой машины, державшей курс по широкому Ярославскому шоссе в направлении поселка Хотьково.

Уже стоял апрель, город тонул в мутной серой мороси, почернелые сугробы тянулись вдоль обочин, чумазые машины однообразным потоком обтекали наш неуклюжий грузовик, затормозивший в итоге перед палаточным городком возле учебного макета исправительно-трудовой колонии.

Макет, сооруженный в натуральную величину, в подробностях отражал бараки, вышки, заборы, контрольно-пропускной пункт со шлагбаумом и, казалось, только и ждал своего заполнения зэками.

Под предводительством одного из командиров взводов мы совершили паломничество на этот безрадостный объект, где нам была прочитана лекция по специальности, так сказать, а после отправились устраивать свой быт в палаточные чертоги.

В палатках мы размещались по четверо; постелями служили деревянные настилы с бесформенными ватными матрацами, застеленными тонкими одеяльцами, а остальную меблировку составляли кособокие фанерные тумбочки для хранения личных вещей. Все.

Вешалки для шинелей отсутствовали, и, как я впоследствии понял, не без умысла.

После ужина на очень свежем апрельском воздухе возле бочки с варевом неопределенного вкуса, формы и цвета, последовала команда «отбой», и мы разбрелись под брезентовые пологи, тут же уяснив, что раздеваться для сна не стоит.

Ледяные отсыревшие матрацы и подушки на дощатых топчанах, теплом человеческих тел не согревались, и спать мы улеглись в полной зимней форме одежды, то есть, не снимая шинелей, а также сапог и ушанок.

Ночью я проснулся, содрогаясь от холода. Мои соседи по брезентовому жилищу отсутствовали. Сквозь ткань палатки просвечивало оранжевое пятно недалекого костра. Там, в компании часового, охранявшего сон нашей роты, я обнаружил всю честную компанию своих сослуживцев.

Нам удалось пропарить над огнем дымящиеся густым паром шинели и сапоги, покуда не явился такой же, как мы, задубевший от мороза сержант и не разогнал нас по арктическим матрацам.

– Завтра согреетесь, партизаны! – пообещал сержант многозначительно.

Утром по зову охрипшей трубы я, сбросив с себя ровно затянутое колким инеем одеяльце, поспешил на построение, понимая, почему в армии подъем назначен на шесть часов утра. Единственное, что хочется делать в шесть утра, это убивать людей.

После переклички нам был устроен оздоровительный пятикилометровый кросс, повторявшийся затем каждое последующее утро; далее был завтрак, по окончании которого старшина объявил, что главная цель нашего пребывания в здешних просторах – помощь в строительстве важного военного объекта, возможно, и стратегического назначения.

Старшина или добросовестно заблуждался, или бессовестно врал, поскольку по прибытии на объект, находящийся неподалеку, мы сразу уразумели, что командированы в качестве бесплатной рабочей скотины для возведения нескольких частных коттеджей.

Каждому из нас «стратегическое» строительство запомнилось, уверен, на всю оставшуюся жизнь!

Пахота начиналась ранним промозглым утром и заканчивалась таким же прохладным вечером, хотя ощущение низких температур ранней весны вскоре нами было утрачено: перед отбоем, голышом стоя в снегу, мы, смывая пот и грязь, с наслаждением обливались льдистой водой из умывальника, и пар клубами валил от наших разгоряченных тел, подверженных теперь простудам в такой же степени, как высокопрочные металлы и прочие элементы неорганической природы.

За день нами переносились с места на место тонны кирпича, бетона, строительной арматуры и прочих тяжестей. Не обремененный тяжестью носилок с раствором, я порой чувствовал, что, подпрыгни сейчас, улечу к звездам, а двухпудовую гирю, зацепив мизинцем, мы перебрасывали друг другу, как баскетбольный мячик, и утренний пятикилометровый кросс воспринимали детской потехой.

Культурно-развлекательными мероприятиями являлись упражнения в стрельбе из автомата и пистолета, швыряние гранат на дальность и точность, подтягивания на турнике и отжимания от пола, то бишь от земли, до крайней степени изможденния.

В палатках мы уже спали в одном нательном белье, не всегда и прикрываясь поверх одеяла шинелью, и наши первоначальные мечты о ночлеге в уюте бараков учебной зоны – мечты, отмеченные очевидной практической целесообразностью, однако политически вредные с точки зрения наших идейных командиров, скоро забылись, и деревянные топчаны с продавленными матрацами виделись вполне приемлемыми и даже комфортабельными ложами, а казарменные койки вспоминались как предметы неоправданной, граничащей с развратом, роскоши.

С первыми листочками, пробившимися на подмосковных березках, мы возвратились на свою городскую базу, где, в несколько дней преодолев либеральные процедуры выпускных экзаменов, получили заветные сержантские лычки и записи в воинских билетах, удостоверяющие наш статус инструкторов по техническим средствам охраны исправительных колоний от окружающего их мира свободных граждан.

Едва я успел полюбоваться в желтых прокуренных зеркалах ротной помывочной на свои новые погоны, прозвучала команда сдать постельное белье и собрать личные вещички в индивидуальные солдатские мешки, после чего в считанные часы казарма опустела: мы, новоиспеченные младшие командиры, спешно развозились по местам своей дальнейшей службы, а наша «учебка» готовилась к встрече очередного курсантского молодняка.

И вот знакомый Казанский вокзал, жесткая полка плацкартного вагона и – безрадостный обратный путь в город Ростов-на-Дону, в прежний конвойный полк, пронумерованный, как в/ч 7405.

Засыпая в тряской духоте ночного купе, я поймал себя на мысли, что не очень-то и огорчен своим отъездом из столицы. Устройся я, благодаря протекции отца, даже каким-нибудь генеральским прихвостнем, что бы мне сулило подобное положение? Ущербную свободу увольнений в город? Протирание штанов на тепленьком стуле в штабном закутке? Таковые перспективы меня не вдохновляли. А возможные тяготы будущей службы в боевых подразделениях казались несущественными.

Лычки сержанта довольно надежно защищали мое достоинство от произвола «дедов» и офицеров, а что же касалось каких-либо физических нагрузок или бытовых неудобств, то после жизни в палаточном лагере они пугали меня не более чем рыбу вода, высота птицу и волка лес.

* * *

Утром меня разбудили петухи. Они голосили по всему поселку, приветствуя восход светила, и я поднялся с койки со странным чувством дачника, приехавшего в деревеньку провести безмятежный отпуск.

В чем-то такое чувство было и справедливым. Жесточайшая дисциплина учебки с ее сорокапятисекундным подъемом и одеванием, заправкой коек буквально по линеечке, спешным построением на зарядку осталась в другой, показательно-показушной армии, а здесь, в боевой конвойной роте, никто никого не подгонял и впустую не суетился: люди серьезно и основательно собирались не на холостую муштру на плаце, а на тяжелую реальную работу, получая оружие, наполняя водой фляги и неспешно уходя в сторону зоны на развод.

Вместе со всеми покинул казарму и я – праздно, не обремененный тяжестью автомата, тронувшийся через поселок к видневшимся вдалеке сторожевым вышкам. В раскинувшихся вдоль дороги садах влажно сияла молодой листвою свежая изумрудная весна.

Младший сержант, командир одного из отделений, белобрысый конопатый парень, шагавший рядом, выказал мне, а, вернее, моей должности инструктора глубокую зависть.

– Чтоб мне так жить! – с придыханием рассуждал он. – Курорт, а не служба!

– То есть?

– Что – «то есть»? Офицерам и тем хуже, чем тебе… У них ответственность хотя бы. Один солдатик самогона пережрал, другой боеприпас потерял или побег проворонил… А ты – как птичка Божья, порхай себе… Прохудился забор – зеки отремонтируют. Ну и все. Телефон там… раз в год починишь. А в основном – гуляй, цветочки нюхай. Хочешь – по поселку, а скучно стало – на дорогу вышел, попутку поймал и на объект прокатился, развеялся… Вольный стрелок. Это мы… Развод, по машинам, потом весь день на вышке и – отбой. Ну, воскресенье разве – чтоб отоспаться.

Слушая младшего строевого командира, я понимал, что не напрасно тянул лямку в московской «учебке», отрабатывая свою сегодняшнюю свободу быта и передвижений.

Войдя в караульное помещение, я был прямо с порога атакован злобным, как цепной пес, сержантом, прогавкавшим:

– Ты новый инструктор?! Давай, чини сигнализацию, всю ночь не спали, тра-та-та-та!

– Слушай, друг, я тут первый день, давай на тон пониже…

– Хрена себе – пониже! Коты то в зону, то из зоны шастают, провода на заборе рвут, а мне только и дел, что караул через каждые пять минут «в ружье» поднимать!

Я внимательно осмотрел единственное техническое средство охраны колонии – допотопный приборчик, а точнее – пульт, снабженный красной лампой тревоги и пронзительным электрическим звонком. Именно к этому обшарпанному металлическому ящику и тянулись вдоль основного ограждения провода, безнадежно подгнившие и требующие тотальной замены.

Опутать периметр забора новыми проводами представляло собой задачу невозможную, во-первых, в силу элементарного отсутствия таковых, а во-вторых, для совершения подобного трудового подвига требовалось большое желание и энтузиазм, также напрочь отсутствовавшие, ибо ползать по забору с молотком и гвоздями мне предстояло исключительно в одиночку, так как привлечение зеков к подсобным работам такого рода отрицали режимные соображения, а праздношатающихся солдатиков в роте не было – правами на вольное времяпрепровождение располагал исключительно я.

К тому же сам по себе прибор являл собой торжество конструкторской мысли идиота, не уяснившего в момент творения этого технического шедевра-урода очевидной истины: прочный провод не порвется, а хлипкий даст сотни ложных срабатываний.

Улучив момент, когда караульные вышли во двор, я отсоединил аппарат от сети и разъемов, высоко поднял его над головой и, основательно способствуя величине G, определяющей силу земного притяжения, опустил ящик на чугунную плиту перед бездействующей по причине теплого месяца мая, печкой-«буржуйкой».

Затем поставил прибор на место, с педантичностью опытного диверсанта-подрывника присоединив к нему обратно все до единых разъемов и тщательно проверив плотность соединений.

– Ну что? – спросил меня озлобленный ночными перебежками по караульной тропе сержант, заглянувший в помещение.

– Сейчас… проанализируем, – отозвался я, включая тумблером энергопитание.

Внутри ящика, пережившего не отвечающее техническим правилам эксплуатации падение с высоты, что-то по-змеиному зашипело, контрольные лампочки, едва успев вспыхнуть, тут же печально погасли, и после краткой агонии ветеран караульного помещения испустил дух в виде ядовитого чада от горелой пластмассы.

– На дембель откинулся, – ошарашено прокомментировал сержант данное событие.

– Отслужил, – скорбно согласился я. – Ничто не вечно под луной, как известно.

– И что теперь? – вопросил сержант тупо.

– Теперь караул будет спать спокойно, – твердо пообещал я. – А ротному доложишь: так и так, по причине моральной и материальной изношенности, обогатив атмосферу планеты экологически вредными газами, скончался прибор… Как его… Проволочно-разрывной сигнализации за инвентарным номером ноль – тридцать пять – шестьдесят один. Прибор восстановлению не подлежит. Заявляю это тебе как лицо компетентное.

– Но…

– Что «но»?.. Ты потрясен утратой? Или покойный способствовал пресечению хотя бы одного побега?

– Какой там способствовал! Одна головная боль! – отозвался сержант уныло.

– Тогда в чем дело?

– Ты подтверди, что мы тут ни при чем, вот в чем дело! А то ротный подумает, караул с аппаратом чего нахимичил… Ребята тем более грозились…

– Кончина носила естественный характер, – успокоил его я. – О чем, если надо, можем составить акт вскрытия.

– Да нужен кому этот акт…

– Вот именно.

Таким образом, со средствами сигнализации, отвлекающими отдыхающую смену караула от сна, я разобрался в течение считанных минут и навсегда, полагая, что часовые на вышках со своими верными дружками «Калашниковыми» куда надежнее и эффективнее обеспечат охрану жилой зоны, нежели десяток агрегатов, подобных тому, что был умерщвлен мною с безжалостной решимостью при первом же кратком знакомстве.

Открыв пирамиду с оружием, сержант вытащил из нее ключ. Сказал:

– Держи. От твоей блат-хаты.

– Какой еще…

– Ну, каптерки… Видел хибару на углу возле зоны?

– Да… – сказал я, припоминая побеленный кубик некоего малогабаритного строения, мимо которого недавно прошел, приняв его за сортир для караульных солдат.

– Вот там и есть твоя резиденция… японского царя, – уточнил сержант.

Далее я обошел периметр колонии по караульной тропе, выяснив, что если внутренняя запретная зона и основной глухой забор находятся в относительном порядке, то внешние охранные сооружения весьма пообветшали: истлевшие гирлянды путаной проволоки, официально именовавшиеся «малозаметным препятствием», свешивались с трухлявых серых

столбов, еле державшихся в земле своими перегнившими основаниями, опоры же крайнего ограждения с предупредительными табличками «Стой! Запретная зона!» поддерживались в вертикальном положении исключительно за счет натянутой между ними ржавой провисшей колючки. То есть по принципу некоей взаимоустойчивости, как хоровод нетрезвых танцоров. Приведение этих перекошенных временем кольев в надлежащий вид требовало гигантских трудозатрат. Но на то в роте и нужен был инструктор. А дабы сохранить свободу передвижений и не быть привлеченным к конвойной тягомотине, мне требовалась демонстрация какой-то деятельности.

Свой променад вокруг исправительно-трудового учреждения я завершил у двери подведомственной мне каптерки.

Войдя туда, я был приятно обескуражен тем, что предстало моем взору.

Я находился внутри небольшой комнатенки с низким потолком, чью обстановку составлял письменный стол, стул с матерчатой обивкой сиденья и солдатская койка, аккуратно застеленная казенным одеялом. В углу ютилась компактная печка-голландка. За ситцевой, выгоревшей от солнца занавесочкой, я обнаружил стеллаж с разнообразным инструментом, запасными частями от постовых телефонных аппаратов и разную электротехническую мишуру.

Я с удовольствием расположился на кровати, перекинув ногу за ногу и ладонями подперев затылок. Разврат-с!

Невольно припомнились слова одного из командиров нашей сержантской школы: «Крепитесь, ребята, ваше учение и есть ваш последний бой. После него, считай, отвоевались». Командир был прав, хотя, полагаю, что полгода сержантского образования с лихвой перекрывали по своим тяготам полный срок рядовой солдатчины.

В этот же день под мое командование мне была передана бригада зэка, должная производить замену подгнивших заборных опор, проволоки и досок.

Осмотрев выстроившийся передо мной коллектив, спросил у одного молоденького осужденного, за что тот сидит, получив следующий ответ:

– За колесо.

– Украл колесо?

– Да, от «Волги».

– И получил три года?!

– У меня отягощающее обстоятельство… Применение технических средств.

– Каких?

– Домкрат и баллонный ключ.

– А как же без них?

– Без них – никак, – удрученно согласился собеседник. – А с ними – заполучите трояк!

Вот так!

Народ в бригаде подобрался разностатейный: убийца по неосторожности, с перепугу порешивший залезшего к нему в дом воришку дедовской казачьей шашкой; упомянутый похититель колеса; бродяга неопределенной национальности, знающий двадцать языков населяющих СССР народов и считавшийся ввиду скорого окончания срока расконвоированным осужденным по кличке Труболет; благообразный старичок, чей нынешний срок пребывания в заключении был пятнадцатым по счету, однако рецидивистом не значившийся, ибо каждый раз осуждался по отличной от предыдущей статье; и, наконец, «аварийщик», схлопотавший двенадцать лет за дорожно-транспортное происшествие, совершенное им в нетрезвом состоянии. Старичок, помимо различных зон обретавшийся еще в и монастырях, где отмаливал, по его словам, «грехи реализованных искушений», в колонии получил кличку Отец Святой.

Внимание мое отвлек клекот запутавшейся в проволоке «малозаметного препятствия» поселковой курицы, которую многоопытный, чувствовалось, Труболет, сноровисто из силков освободив, тут же поднял за ноги, отчего курица моментально погрузилась в состояние нир-

ваны, и этот простой приемчик я не без любопытства запомнил, как одну из составных частей приобретаемого мной жизненного опыта.

Заботливо обернув пернатую дичь спецовкой, Труболет предложил:

– Едем, начальник, на речку. Сполоснемся, сготовим птицу… Все лучше баланды…

– Разбежался! – угрюмо молвил убийца.

Повисла напряженная пауза.

Зеки затаили дыхание в ожидании моего ответа, надеясь на чудо положительной реакции по поводу такого предложения их сотоварища.

Лично я ничего не имел против освежающей водной процедуры, более того, в мое распоряжение администрацией лагеря был выделен для подсобных работ разболтанный грузовичок, и съездить на речку, а, вернее, – на канал, извилисто тянувшийся через степь буквально в нескольких километрах от зоны, особенной проблемы не составляло, единственное – как бы не попасться на глаза начальству…

Голос подал курировавший мою бригаду конвоир – старослужащий рядовой Кондрашов.

– Едем, сержант, – сказал он. – Если засекут, скажем: тырили доски со склада стройбата – они тут неподалеку стоят своим шалманом… А вас, сусликов, – обратился к зекам, – сразу предупреждаю: стреляю без предупреждения! Если возникнет желание сдернуть – давлю на гашетку, и мы все в отпусках: я – в краткосрочном, вы – в вечном…

– Мы – приличные люди! – едва ли не с возмущением прокомментировал такое образное предостережение конвоира Отец Святой. – О чем речь вообще, молодой человек!

– И аквалангов у нас на дне не припасено, – вдумчиво и даже с каким-то сожалением добавил колесный вор.

– Кто дернется – замочу лично! – предупредил убийца.

– И, кстати, возьмите ведро, начальник, – сказал Труболет, имевший в отличие от других право свободного передвижения в окрестностях зоны и потому страха перед «Калашниковым» не испытывавший.

– Зачем оно?

– Возьмите, говорю, не пожалеете.

Я взял из караулки цинковое старое ведро с заржавленными боками и в самом деле не пожалел: в канале обитало множество раков, и вскоре, с наслаждением выкупавшись, мы сидели на травке в одних трусах с рядовым Кондрашовым, державшим «Калашников» на голых коленях, наблюдая, как на водной глади мелькают незагорелые задницы зеков, ныряющих в поисках рачьих нор к илистому неглубокому дну.

Серо-зеленые пучеглазые обитатели водоема, чьих клешней не страшились заскорузлые лапы зеков, один за другим покидали воздушным путем родную стихию, шлепаясь на берег возле ведра с подсоленной водой.

Из лесопосадок, чахло тянувшихся вдоль канала, убийца принес несколько ворохов сучьев, запалил костер; стараниями Труболета, проявившего высокую квалификацию походного повара, запеклась в глине попавшая в тюремные силки жирная курица, а после подоспели и свежесваренные раки.

Основательно перекусив дарами степного канала и накупавшись до звона в ушах, мы возвратились на прежнее место – под забор жилой зоны, напрочь лишенные желания продолжать какую-либо трудовую деятельность.

У нас оставалось еще целое ведро раков, пожертвованное мной караулу жилой зоны, крайне доброжелательно отнесшемуся к такому презенту:

– Это – жрачка не для фраеров локшовых, бацилла зачетная…

Тут следует заметить, что употребление воровского жаргона среди личного состава конвойной роты было явлением повсеместным и органичным, как и само заимствование данной лексики у осужденных, с которыми мы составляли, в общем-то, единый коллектив, разделен-

ный разве условностями униформы и забором, по одну сторону которого располагались бараки зека, а по другую – наша казарма.

Режим службы зеркально отражал распорядок дня зоны: мы вместе отправлялись на подневольный труд, вместе возвращались с него, и неизвестно, кому было тяжелее – зекам или конвою, ибо торчать на вышке в палящий степной зной или в пронзительный зимний холод с ураганными в здешних краях промозглыми ветрами, ничуть не легче, чем клепать железки в теплом цеху промзоны и даже таскать кирпичи на стройке.

Что же касается пищи, качество ее было практически одинаковым, а уж свободное время, как в лагере, так и в роте, проходило по единому образцу: сон, воскресная киношка, стирка одежды и чистка сапог.

Кроме того, каждый из нас, солдат, точно так же, как и граждане уголовнички, отбывал не по доброй воле свой срок, считая дни, оставшиеся до желанной даты освобождения, и жил в одинаково томительном ожидании ее приближения и в мечте о расставании с поселком Южный, где самым привлекательным объектом для заинтересованного рассмотрения было расписание транспорта, идущего куда подальше от этого расписания.

Функции зоновской «секции внутреннего порядка» в роте исполняли сержанты, в качестве администрации выступали ротный и взводные, «блатных» олицетворяли старослужащие, а новобранцы пахали, как лагерные «мужички».

Был свой «лепила» – то бишь фельдшер-сержант, «кум» – замполит, а также стукачи, составляющие его секретную агентуру, время от времени выявляемые и переходящие после нанесения им побоев в касту отверженных.

То есть, в принципе, я пребывал в той же тюряге, в положении расконвоированного заключенного, подобного входившему в мою бригаду Труболету.

– Завтра, – говорил Труболет, отдыхавший в подзаборной тени и задумчиво грызший травинку, – начну плести сеть, подходящая нитка имеется. Трехстенку. Сегодня бы поставили – завтра были бы с рыбой.

– Так, – подвел я итог этой идиллии. – Быстро берем лопаты и приступаем к зачинанию ям для опор, перекуры закончены!

– Вот это по-нашему! – одобрительно крякнул убийца и, взяв лопату, ткнул ее черенком ойкнувшего старца под ребро. – Пошли, хрен моржовый, пограничный столб укреплять, расселся тут… Не на пенсии иш-чо!

Под забором в качестве наблюдателей за установкой бетонной опоры теперь остались двое: я и Труболет-полиглот. Выплюнув изо рта измочаленную травинку, мой подопечный негромко молвил:

– Есть разговор, начальник…

– Слушаю вас внематочно…

Собеседник с подозрением обернулся на сторожевую вышку, словно оценивая расстояние до часового, в чьем поле зрения мы находились. Найдя расстояние подходящим для выбранного им звукового диапазона, продолжил:

– С прежним инструктором, начальник, мы были, вроде бы как кентами… то есть, ну…

– Находились в приятельских отношениях, – перевел я.

– В точку, – согласился Труболет.

– И кто кому оказал честь подобным расположением?

– Про честь я не в курсе, – ответил бродяга. – Но на дембель парень ушел с бабками. – Он замолчал, выжидая таинственную паузу.

– Ну, давай, гони дальше, – сказал я. – Не бойся. Если предложение разумное, я говорю «да», а если говорю «нет», то разговор забывается без всяких последствий.

– Я могу за предложение сильно пострадать, – произнес Труболет в нос.

– Не можешь.

– Точно?

– Торжественно обещаю.

– Так. В общем, дело такое… Ты, начальник… На «ты» можно?

– Попробуй.

– Ты, конечно, тут первые дни, покуда не в курсе… А ситуация обстоит так: в зону нужен одеколон и алкоголь. За бутылку платится стоимость трех ящиков. – он многозначительно развел руками и по-птичьи, как гриф, вжал голову в плечи. – Конец… информации, – добавил с заминкой.

– Не конец, а только начало, – возразил я. – Поскольку возникают закономерные вопросы. Первый: почему предложение поступило именно ко мне? Есть же начальники караулов, вольнонаемные…

– Отвечаю по порядку, – степенно откликнулся собеседник. – Солдаты и сержанты в поселок если и ходят, то по ночам. В самоволки. Местных бабушек потискать. А вот с работниками торговли никакого тесного контакта не устанавливают. А зря. Теперь. В карауле они как под микроскопом. А потом, думаешь, через «вахту» легко передачку в зону намылить? На «вахту» все глаза в упор смотрят!

– А если через рабочий объект?

– А шмон при возврате в зону? – резонно заметил Труболет. – Ну, можешь, конечно, на работе зенки залить… Но коли контролеры унюхают, считай, на пятнадцать суток в шизо[1] устроился автоматом… Да еще допрос у «кума»: кто, что…

– А я чем хорош?

– Ты в лагерные мастерские сто раз на дню заходить можешь. То резьбу нарезать, то сверло подточить… Да ты на себе в день три ящика водяры перетащишь – никто не вздрогнет! А если во время обеда – вообще в зоне никого: одни шныри[2] и блатные…

– Если откровенно, – признался я, – то особой нужды в деньгах не испытываю. Так, если только приличной жратвы докупить к нашей баланде…

– Об чем, бля, и речь! – высказался Труболет с чувством. Характерное словцо он употреблял в своей речи постоянно, как запятую или же неопределенный артикль.

– Подумаю, – сказал я. – Задача ясная, но есть и риск. Надо прикинуть.

– Да какой там риск… – развязно молвил бродяга, кривя физиономию.

– Очень конкретный, – сказал я. – Если накроют, мне пришивают «связь с осужденными», и я в лучшем случае совершаю прыжок в высоту, то бишь на вышку…

– Сторожевую? – уточнил Труболет.

– Да. Высшая мера наказания в виду не имеется. Но лычки и все с ними связанное теряю. Попадая в глубокую просрацию. Есть смысл?

– Ты прав, – сказал искуситель. – Но существует один, бля, момент: дело с тобой будут вести авторитетные люди. Не я. Я шестерка. И тебя они не провалят, поверь! Я честный человек, а честный человек кому попало врать не будет. Тот, прежний, полтора года нам пузыри таскал, и все в ажуре, ездит сейчас, небось, на «Жигулях», от невест уворачивается… Но, коли желаешь без риска, уговаривать не стану. Трус не играет в хоккей. А хочешь на гражданку с голой жопой и с чистой совестью – флаг тебе в руки и барабан на шею. Еще скажу: чукчи ваши конвойные… ну, эти… азиаты… наркоту нам каждый день подгоняют, их родственнички из поселка не вылезают, как прописались… И думаешь, твой ротный не в курсе? Или наш «кум»?

– И… меры не принимаются?

---

[1] Штрафной изолятор.

[2] Дневальные.

– Суетятся чего-то… А все равно хрен за всем отследишь. Попка[3] на вышку залез, а там уже посылочка заныкана[4]… Хлоп ее в рабочую зону, лавэ[5] на той же вышке оставил, чтобы родня после смены караула забрала, – и шабаш! Это к примеру, понял? Я дело толкую!

– Уголовное, – уточнил я.

– Да ладно тебе! – отмахнулся Труболет. – Вот оттрубишь тут еще годик, будешь почище любого зека! Ты посмотри на конвойных «дедов» – головорезы! В нашей, к примеру, зоне таких бандюг еще поискать! А у вас каждый третий человеку башку отрежет, как папироской затянется! Плохая у вас служба, начальник, калечит она человека – проверено. И недаром столько ваших орлов сразу же после дембеля за решетку приходит, ох, недаром…

– С кем поведешься, – сказал я.

– Ну так… разговор не окончен?

– Подумаю. – я встал с земли, водрузив на бесшабашную свою голову пилотку. – Кончай работу! – крикнул бригаде.

– Конвой устал! – подтвердил рядовой Кондрашов, почесывая округлившееся от сегодняшней сытной трапезы пузо.

– Очень рад нашему с вами знакомству, – учтиво попрощался со мною Отец Святой, тряся стриженной седенькой головкой.

– До завтра, – заговорщически сузил глаза Труболет-растлитель.

– Раками – обеспечим! – заверил похититель колес.

– Бывай, начальник! Ты – человек! – сказал свое задушевное слово убийца.

* * *

На следующий день в мастерских колонии при посредничестве Труболета состоялась моя встреча с авторитетным жуликом Леней, вручившим мне изрядную сумму на закупку крепких алкогольных напитков.

Свое аморальное, с точки зрения воинской присяги, участие в контрабанде горячительного зелья я оправдывал прежде всего тем, что побудительные мотивы такого моего поступка особенной корыстью не отличались.

Копить дензнаки на «Жигули» я не собирался, а вот компенсировать с их помощью издержки казарменного питания, напоминавшего помои, я полагал делом, от которого прямо зависит моя жизнь и здоровье.

Жулик Леня – солидный дядя лет пятидесяти с обрюзгшим лицом и невыразительными свиными глазками, определил наши отношения с ним с четкой и достоверной прямотой:

– Я – вор, ты – мент, – сказал Леня. – Каждый при своих понятиях, симпатиями у нас не пахнет… Так?

– Так.

– Вот. Но бизнес возможен. Страна у нас пьющая, люди испытывают неоправданные страдания на лагерной диете, а ты – способствуешь сохранению национальных традиций. Это труд. И мы оцениваем его высоко. Только не погори. Наши очерствелые сердца разорвутся от такой утраты партнера.

– Насчет погореть – пожелания те же самые, – отозвался я.

И уже через час под предлогом проточки тормозных барабанов своего грузовичка я заехал в жилую зону, сгрузив жулику Лене четыре ящика водки с сомнительной по своему

[3] Часовой.

[4] Спрятана.

[5] Деньги.

правдоподобию маркировкой «Пшеничная». В массах бытовало устойчивое мнение, что данный продукт производится из мазута,

За водку я щедро переплатил продавщице местного магазина, тут же заверившей меня, во-первых, в неограниченном отпуске мне товара в любое время суток, а во-вторых, в строжайшем соблюдении ею военной тайны по поводу личности оптового покупателя, берущего товар по цене, много превышающей розничную.

Леня, ожидавший от меня контрабанды в виде отдельных время от времени переносимых в зону резиновых грелок, наполненных перелитой в них из бутылок отравой, просто оторопел от столь масштабного моего подхода к нашему нелегальному сотрудничеству.

– Ну, ты и даешь пару, командир… – ошарашено шептал он, вытаскивая пузырьки из-под продавленного водительского сидения. – Тут нам уже параграф по спекуляции корячится, тут шизо не отделаешься… И вот так в наглую, на машине… Хотя, наверное, именно так и надо, так оно и проходит… А то вчера один пидор пол-литру себе в зад заныкал на рабочей зоне, а при шмоне все равно погорел…

– В зад? Пол-литру?

– А чего? Они запросто…

– Нет, что-то в лице у него было такое… – сказал я. – Из-за чего контролер и усек.

– Ну, жопа, естественно, не грузовик! – охотно признал мою правоту Леонид.

За эту поездку я положил себе в карман гимнастерки сумму, равную годовой зарплате инженера, так что высокий риск контрабандной акции прямо пропорционально соответствовал ее оплате.

Подчиненные мне зеки день за днем неторопливо копали ямы под бетонные опоры, вбивали, стоя на дощатом помосте, арматуру в землю, неуклонно претворяя в жизнь проект реконструкции тюремных ограждений.

В июле наступила пора беспросветного зноя, гимнастерка мгновенно пропитывалась потом от малейшего физического усилия, сапоги казались раскаленными колодками, и в качестве рабочей формы одежды я выбрал пляжный, так сказать, вариант: пилотку, плавки, темные очки и купленные мной в промтоварной лавке резиновые шлепанцы-вьетнамки.

В этаком отвлеченном видике я то и дело заходил в жилую зону, где зеки установили открытый душ в виде сварной конструкции с водруженной на нее бочкой, что представляло собой немалое удобство в условиях безжалостной степной жары.

Администрация колонии, равно как и караул, регулярно снабжаемый мной рыбными деликатесами и винишком из того же поселкового магазина, со смешками воспринимали мои хождения на водные процедуры в вольном курортном облачении, однако враг в лице замполита роты, меня недолюбливающего, не дремал, и, подловив при выходе с «вахты», устроил мне дикий разнос, приказав обрести надлежащий уставной вид.

Приказу я не подчинился, замполит побежал стучать на меня ротному, и вскоре тот сам явился на зону, придирчиво осмотрел мой пляжный наряд, коротко молвив:

– Непорядок, сержант.

– Берегу форменную одежду, товарищ капитан, – ответил я. – Вон, посмотрите на граждан осужденных…

Зеки, с появлением капитана значительно повысившие производительность труда, мощными ударами тяжеленной кувалды вгоняли в сухую почву очередной арматурный шест; Отец Святой, стоя на коленях, выбрасывал руками со дна ямы летевший между его ног грунт, напоминая дворнягу, отрывающую схороненную в землю кость; колесный вор волочил бетонный столб, страстно прижав его к впалой груди. В общем, все мои гаврики – потные, чумазые, пропыленные, старались, как могли, имитируя ударный бескомпромиссный труд, и капитан невольно смутился, сказав:

– Ладно. На формализме далеко не уедешь. А вот за работу, сержант, будем тебя поощрять. Первое поощрение такое: можешь замполита послать… Но – интеллигентно, без хамства. Все ясно?

– Так точно.

– Не нравишься ты ему…

– Обоюдно.

– Но ты смотри… – произнес капитан доверительно. – Это такой звереныш… В общем, не подставляйся. Максимальная бдительность, в общем… Тем более я, может, в госпиталь скоро лягу, язва замучила. А комбат склонен его временно ротным назначить.

Через несколько дней кэп угодил в госпиталь с обострением язвы желудка, командование ротой принял на себя замполит, и я, предчувствуя грядущее ограничение вольности своего режима, поспешил удариться во все тяжкие: срочно перетащил в зону двадцать ящиков алкоголя, свернул строительные работы, и под предлогом поиска недостающих материалов интенсивно предавался рыбалке, купанию в канале и ловле питательных раков, тем более стоял август, и быстротечные прелести лета истаивали на глазах.

Труболет практически ежедневно таскал из частных хозяйств то кур, то гусей, одновременно наведываясь и в огороды, где вызревали помидоры с огурцами, так что качественной жратвой мы себя обеспечивали.

Наведавшись на колхозное поле и, накидав в кузов початков молочной кукурузы, я уже намеревался возвратиться обратно к зоне, но тут убийца предложил нанести визит к бахчеводам-армянам, чье обширное, многогектарное хозяйство располагалось неподалеку.

– Может, пожертвуют единоверцы пару арбузиков? – высказал он предположение.

– Что вы! – отмахнулся Отец святой. – Такие жлобы!

– И чуть что – из берданок палят! – поежился конвойный Кондрашов, сжимая цевье автомата. – Опасно даже соваться!

– Едем! – решительно заявил Труболет. – Я под армянина токо так закошу… Примут, как родного!

Бродяга-полиглот действительно блеснул своим знанием языка и обычаев армянского народа: нас даже пригласили в сторожку, угостив чаем со сладостями, и, воспользовавшись расположением к нему хозяев, Труболет выклянчил у них банку растворимого кофе, не уставая бубнить печальным голосом одну и ту же фразу, в которой единственным знакомым мне словом было «турма».

Отец Святой вдумчиво Труболету поддакивал, используя, правда, лишь междометия.

В итоге армяне навалили в кузов нашей машины целую гору арбузов, и мы, используя штык-нож, выданный Кондрашовым, дружно принялись за дегустацию даров донской степи.

– Витаминчики! – ликовал убийца, жадно вгрызаясь в сахаристую мякоть основательного арбузного ломтя. – Запасец на зиму!

– Очень полезный овощ! – соглашался Отец Святой, с лихорадочной поспешностью приканчивающий уже третий арбуз. – В нем много пользительных элементов.

– Например? – спросил, отирая травой липкие от арбузного сока руки, убийца.

– Ну… железо. Думаю.

– В таком случае и при таком аппетите, батя, – молвил Отцу Святому колесный вор, – сегодня вы будете какать гирями…

Труболет, также усердствовавший в поедании вкусной бахчевой культуры, вдруг неожиданно схватился за живот и побрел к близлежащим кустам, откуда вернулся с изумленной физиономией, доложив, что оправился непереваренной арбузной массой.

– Хоть подавай к десерту…

Наше идиллическое времяпрепровождение закончилось довольно-таки неожиданным образом из-за чрезвычайного происшествия, прецедент к которому создал колесный вор, выкинув по возвращении с бахчи совершенно непредсказуемый трюк…

Мы уже въехали в поселок, я управлял грузовиком под байки сидевшего рядом со мною в кабине Труболета, как вдруг раздался сильный удар по крыше кабины и вслед за ним истошный вопль Кондрашова:

– Стой, гад, стреляю! – И вслед за криком прострекотала автоматная очередь.

Покрывшись холодным потом, я нажал на педаль тормоза, тут же выскочив наружу.

На обочине, подтянув обеими руками к подбородку правую ногу, корчился колесный вор, подвывая в каком-то животном ужасе, помрачившим, видимо, его рассудок. Штанина его извалянных в дорожной пыли казенных брюк набухала густой черной кровью, отчего мне стало так дурно, что тоже захотелось подвыть ему в унисон, как загипнотизированной однообразным звуком собаке.

Нас окружили остальные зэки, облепленные ошметками разбитых арбузов, и подоспевший к своей жертве стрелок, составившие после моего резкого торможения единое целое, не сразу сумевшее разделиться на отдельные организмы.

– Ну и куда ты бежал, духарик? – молвил Кондрашов, смущенно кашлянув. – Эк, как тебя!.. Ну-ка, дай посмотрю…

Колесный вор завыл на тон выше.

– Конец нам всем, бля буду! – сказал убийца, роясь рукой за шиворотом и доставая оттуда мятый початок кукурузы. – Отнырялись!

– У человека карточный долг, – объяснил мне Отец Святой. – Это шаг отчаяния, начальник…

Я понял: дурень проигрался в карты «блатным», компенсировать долг было нечем, и для его списания требовалось либо покушение на самоубийство, либо на побег. Покушение правдоподобное. И с этой задачей прогоревший картежник, без сомнения, справился.

Из ближайшего дома к нам выбежало перепуганное и одновременно возмущенное семейство местных жителей: одна из выпущенных из «калашникова» пуль угодила, пробив оконное стекло, в пятилитровую банку с вишневым вареньем, стоявшую посередине стола, за которым семейство предавалось мирному чаепитию. Понять праведное негодование гражданского населения было нетрудно.

Внезапно около нас остановился проезжавший мимо ротный «газик», из него выскочил, вытаскивая из кобуры пистолет, замполит с оскаленной пастью бешеного волка – и закрутилось!

Раненного в ногу картежника отвезли в поселковую больницу, приставив к нему часового, зэков отправили на пристрастное дознание к «куму», а мной и Кондрашовым занялся лично политработник, резонно обвинив нас в вопиющем нарушении правил несения караульной службы, грозя скорым судом и дисциплинарным батальоном.

Грубостей в высказываниях он не допускал, даже задушевно улыбнулся мне, посулив, что, когда я лишусь лычек, он не отвернется от падшего сержанта, и по моему возвращении из дисбата станет горячо ходатайствовать о зачислении старого, мол, знакомого, в состав роты рядовым стрелком. Врал, конечно, зараза, но на нервы действовало…

«Кум» тем временем усердно колол зэков в своем кабинете, выясняя их информированность о намерениях незадачливого побегунчика, и в итоге моя бригада отправилась на трехдневную профилактику в штрафной изолятор, осев в его затхлых казематах на вонючей водице и черствых горбушках грубого хлеба.

Также был учинен допрос с пристрастием морально подавленного пулевым ранением беглеца, который, по словам часового, истекая соплями, заложил всех нас с потрохами, поведав оперу и о купании в канале, и о ловле ракообразных, и о запеченных домашних пернатых, хотя,

что подвигло его на такую исповедь, не пойму. За попытку побега светил ему по выздоровлении тот же штрафной изолятор и не более того. Но, искушенный в оказании морального давления «кум» сумел, видимо, использовать благоприятный психологический момент, и вскоре замполит, визжа от восторга, сулил мне разжалование и дисбат, вооруженный куда большими для того основаниями, нежели поначалу.

Стрелок Кондрашов, потрясенный предательской позицией колесного вора, чье ранение, кстати, оказалось чрезвычайно легким, ибо пуля прошла через мягкие ткани, не задев крупных артерий, с возмущенным укором бубнил:

– Вот после этого и делай людям добро… Не понимают!

Он был искренне убежден в снайперской целенаправленности своего выстрела, хотя израсходовал половину боезапаса рожка. Те же слова Кондрашов адресовал и поселковым жителям, которых чуть не угробил, накатавшим жалобу прокурору с требованием материального возмещения за дырявое оконное стекло, варенье и скатерть.

Пока замполит наслаждался в тиши канцелярии литературно-бюрократическим творчеством по созиданию рапорта о моих легкомысленных похождениях, я, укрыв под гимнастеркой три батона молочной колбасы, тайком наведался в жилую зону, а точнее – в штрафной изолятор, где томились мои без вины виноватые гаврики.

На «вахте» услышал новость: жулик Леня запалился с водкой, в разговорах начальника колонии и лагерных контролеров звучало по данному поводу мое имя, так что дело мое отчетливо пахло керосином. А свое дело зоновские стукачи знали крепко…

Пройдя за ограду из колючей проволоки, которой был обнесен изолятор, я спустился в мрачное подземелье, и взору моему предстала жутковатая картина: после прошедшего ночью ливня камеры с земляным полом, в которых не было предусмотрено никакого освещения за исключением окошек-норок размером с игральную карту, залили подпочвенные воды, и зеки подпирали сырые стены, стоя по колено в вонючей жиже.

Мои подопечные сидели в одной камере, вернее – стояли…

Для общения с ними я располагал буквально считанными секундами, ибо предлогом для визита служили поиски якобы пропавшей куда-то кувалды, которую, как я объяснил контролеру-прапорщику по прозвищу Дурмашина, зэки могли заховать в известное только им место.

Я просунул своим подопечным через решетку смотрового оконца колбасу. Сказал:

– Ну и обстановочка тут… Ну, вы и попали!

– Все по плану, начальник! – успокоил меня из темноты камеры хриплый голос убийцы.

– Сигарет притарань, – наказал Труболет. – Хочу курить, как медведь – бороться!

– На выход, сержант! – донесся категоричный приказ Дурмашины. – Свидание закончено!

Вернувшись в роту, я был незамедлительно вызван к замполиту.

– Где вы шатаетесь, сержант?

– Был на зоне…

– Кто вас туда отпускал?

– Я же имею право…

– Что?! Право?! Больше без моего приказа из казармы ни на шаг, ясно? – Поправив портупею, он нервно прошелся по кабинету, раздувая в немом негодовании ноздри. Наконец произнес. – Работы приостанавливаю! Их, думаю, продолжит другой инструктор… А вы готовьте себя к службе на вышке, сержант! А теперь слушайте приказ: сегодня заступаете в ночь дежурным по роте. И завтра. И послезавтра. И послепослезавтра.

– Исключительно в ночь?

– Я не давал вам приказа открывать рот… Да, в ночь! Окончен бал!

Я поднялся на второй этаж казармы, завалившись поспать перед ночным бдением, и проснулся перед прибытием караулов с рабочих объектов; принял оружие, патроны и, заперев ружпарк, погнал дневальных проводить уборку.

После ужина под сочувственные возгласы сослуживцев: мол, достал тебя зверь – провел вечернюю поверку и уселся в командное кресло в канцелярии с зачитанным до дыр детективным романом из ротной библиотеки.

От чтения меня оторвали «деды», заглянувшие на огонек.

– Андрюха, мы до утра в поселке…

– Ребята, – сказал я. – Зверь ждет моего промаха. И ему одинаково хорошо, заложу ли я вас или нет… Заложу – вот вам и стукачок, делайте выводы, а не заложу – значит, во время несения боевого дежурства допустил групповую самоволку…

«Деды» тяжко призадумались, но тут в дверь постучался дневальный.

– Там женщина, товарищ сержант…

В окружении «дедов» я поспешил к входу в казарму, где узрел подвыпившую девицу с перезрелыми формами, ярко намалеванными губами и копной обесцвеченных перекисью волос. Девица, обутая в растрескавшиеся пластмассовые туфельки, переминалась с ноги на ногу и курила сигарету «Кент», небрежно стряхивая пепел на только что вымытый дневальным пол.

– О, – произнесла она, с нетрезвым интересом глядя на нас. – Ка-акие мальчики!.. Свежачок!

– Что вы тут делаете? – задал я резонный вопрос.

– Ехала в Волгодонск, потом вижу… где-то я, вроде, не там… – словно бы удивляясь сама себе, ответила девица. Затем, подумав, спросила. – Переночевать пустите, мальчики?

– Да вы что!.. – начал я, но тут же и осекся, оттесненный от ночной незваной гостьи проявившими нездоровую активность «дедами».

– Девушка, здесь казарма, находиться посторонним не полагается, но где переночевать, я вам покажу, – решительно направился к даме ротный шофер. – Пройдемте… Тут ступенечка, разрешите ручку…

– Я. Ничего. Не видел, – мрачно произнес я в спины уходящих в ночь «дедов», заинтересованной кавалькадой двинувшихся вслед за шофером и спотыкающейся дамой в ночную тьму – очевидно, к гаражу роты.

Чрезвычайно довольные, «деды» вернулись в казарму около полуночи, и вскоре рота гудела, как потревоженный улей, один за другим выпуская в сторону гаража выстроившийся в очередь личный состав боевого подразделения. Согласно званиям и выслуге по полугодиям.

Я, угрюмый, как филин, заседал в ночной канцелярии, подчеркивая свою полнейшую индифферентность к происходящему.

Последним в гараж наведался мой дневальный, топтавшийся всю ночь у тумбочки на входе в роту, как взнузданный конь.

Проходя мимо него, я отчужденно пробубнил:

– Через полчаса подъем… Напоминаю, что нахождение на территории подразделения посторонних лиц…

Дневальный понятливо кивнул мне и тотчас скрылся в росистой свежести утреннего тумана.

Я беспомощно плюнул ему вслед.

* * *

Через два дня произошло закономерное событие: роту поразил триппер, и у врачей местной больницы прибавилось дел.

Визит незнакомки, которая, по словам дневального, «ничего так, отряхнулась, да пошла себе…», принес свои горькие плоды, свалившиеся, как я и подозревал, мне на голову.

Ротные осведомители, пострадавшие наравне со всеми, о происшествии доложили замполиту, он рвал и метал, не принимая во внимание, как и ожидалось, никаких моих «ничего не знаю», и объявил мне наказание в виде трех дней отсидки на гауптвахте, что я воспринял, едва сдержав смех, ибо располагалась гауптвахта в Ростове, командировать меня туда было бы непозволительной роскошью, а, докатись до командира полка весть о тотальном поражении роты бактериологическим оружием данного типа, не сносить бы тогда замполиту головы.

– Сгною! – скрипел он зубами и брызгал слюной. – Сегодня же снова в наряд!

– Есть! – согласно отвечал я, легко свыкшийся со своими ночными дежурствами, ибо приноровился спать в кресле с детективом в руках, оставляя дневального на шухере.

– Но сначала поедешь на арматурный завод!

– А что там?

– Нет связи между постами!

– О, это на весь день…

– На весь не на весь, а чтобы связь была!

– А отдыхать перед нарядом? Положено по уставу…

– Смирно. Кругом. На арматурный – бегом!

На улице моросил мелкий теплый дождь. Я накинул плащ-палатку и, расправив на плече перекрученный брезентовый ремень инструментальной сумки с тестером, отправился к шоссе в поисках попутной машины.

Начальником караула на арматурном производстве в тот день был ефрейтор Харитонов – парень с опасной психикой, хам и мразь; и его-то я и застал в бревенчатой просторной караулке, сидевшего за сколоченным из досок столом с колодой игральных карт в короткопалой пятерне с грязными ногтями. Партнером Харитонова по игре в «очко» был сутулый небритый грузин по фамилии Мзареули – из рядовых старослужащих.

На столе я увидел бутыль с самогоном, надкусанный огурец, россыпь зеленых, невызревших помидоров и разломанный шоколад, по виду и консистенции похожий на оконную замазку.

Из пустой жестянки из-под кофе, служившей пепельницей, поднимался дымок от не затушенного окурка.

Парочка находилась в изрядном подпитии, и на мое появление отреагировала довольно тупо, занятая выяснением своих игорных взаимоотношений.

Эти персонажи меня откровенно ненавидели. За что? За то, что – москвич. Да, не очень-то жаловали нас, москвичей, соотечественники. И почитали за какую-то особую, чуждую народу русскому нацию. Сначала такому отношению я искренне удивлялся, после же, свыкшись, начал воспринимать его с презрительным равнодушием. Но природа болезненной внутренней зависти провинциалов к обитателям столицы оставалась для меня неизменной загадкой. Отчего происходила эта зависть? От того, что жителям Москвы больше привилегий перепадает? Или от того, что по складу ума и характерам мы иные, нежели наши периферийные российские собратья – истинные, так сказать, русские, кондовые?..

– Ты, сука, кацо, шулер, – говорил, укоризненно качая головой, Харитонов, замершим взором изучая пришедшие к нему по сдаче карты. – Я тебя, сука, урою в итоге…

– Ти, дрюк, не клювайт носом, – отзывался грузин. – Играт над вынимательно!

– Да с тобой, бл…ю, хоть как играй! – горячился Харитонов, остервенело швыряя карты на стол. – Лечишь, и все!

– Ти сам три раз билят… Дэньги давай суда!

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.